

# Вовка



18+

Федоров Дмитрий

# Дмитрий Федоров

## Вовка

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=69770476](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69770476)*

*SelfPub; 2023*

### Аннотация

Вовка – виртуозный игрок в "ляngu", убежденный двоечник и бесстрашный искатель приключений на свою задницу на окраине недавно погибшей советской империи. Кажется, нет такой дыры, куда бы он не смог пробраться и протащить туда своих товарищей по бродячему счастью. Автобиографическая повесть о дружбе и взрослении с романтикой девяностых.

# Дмитрий Федоров

## Вовка

1

Октябрьский полдень напитан солнцем и ароматом тлеющих с ночи костров. Этими кострами город избавляется от палой листвы гигантских платанов, урючин и карагачей. И хотя все участники этого рода утилизации были в той или иной степени согласны с тем, что это вредно, тем не менее способность ненужных вещей исчезать из этого мира при помощи огня была настолько удобна, что никто не решался от неё отказаться всерьёз.

Идёт большая перемена. Я стою за воротами школы и играю в ляngu с Вовкой. Что такое лянга? Ляngu, как любила повторять школьный вахтёр баба Дуся, придумал дьявол кочевников ещё до изобретения пионерского галстука и значка октябрёнка и подсунул её ребенку мужского пола, чтоб ему было веселей отлынивать от уроков. Что такое лянга технически? Это небольшой кусок бараньей или козлиной шкуры, обязательно с шерстью, к которой крепится плоский кусочек свинца. Лянга хорошо падает по принципу парашюта, который, как я узнал в шестом классе, является словом-исключением, то есть словом, которое надо просто зарубить себе на

носу. Вот и лянга является вещью исключительной. Падает всегда свинцом вниз и делает это достаточно плавно, что при должной сноровке позволяет виртуозно жонглировать ею ногами. Иногда обеими. Есть масса различных фигур, от самых простых до самых изощрённых, которыми должен овладеть любой мальчишка прежде, чем он станет адептом этой простой, но заразительной игры ташкентских аборигенов. Лучше всего лянгу сделать самому. Выпросить или выменять в узбекской махале (квартале) кусок шкуры, правильно обрезать её ножницами – кожица должна быть размером с 50-копеечную монету или меньше, а шерсть над ней ровняется, но ни в коем случае не укорачивается – островок кожи должен быть как бы под зонтом из шерсти. Затем в пробку из-под газировки льётся расплавленный свинец, и получается плюшечка. В ней проделываются две дырки, как в пуговице, и дальше она плотно крепится проволокой к шкуре. Если лянга летит слишком быстро – часть свинца срезают, если медленно – обрезают лишнюю шерсть или льют новую плюшку, но легче.

Правила игры в лянгу просты... Кто быстрее всех пройдёт круг из «фигур» – тот и выиграл.

Ходили страшные слухи о неприятных последствиях увлечения этой азиатской игрой, в основном распространяемые мамками и бабками. Их можно понять, потому что в дневниках их лянгозависимых отпрысков были сплошные «лянги», а иногда и «ножички», иногда даже в четверти. Эти

бедные сердобольные женщины шли на жуткие ухищрения, когда вместо сказок на ночь они читали своим сорванцам тома Большой медицинской энциклопедии, где в авторитетных красках описывалась паховая грыжа – неизменный спутник этой заразы. Все эти «ужасы» заканчивались обычно назидательной притчей об общественных туалетах и грязных горшках, которые в будущем придётся мыть всем, кто играет в лянгу вместо того, чтобы делать как следует уроки. Лянго-зависимые дети в трепетном раскаянии засыпали, но утром всё повторялось вновь, пока сезон этой игры не сходил на нет сам по себе.

Так вот, мы играем. Ну как играем? Вовку невозможно обыграть. Он играет в эту игру виртуозно. Это уже не игра, это избиение младенца. Я уже проиграл и сейчас терплю издевательства. Я бросаю лянгу ему на ногу, а он отпинаывает её, куда ему захочется. Если мне удастся её поймать – я свободен. Но мне не удаётся. Я командный игрок. Моя стихия – это командная игра. Одиночные виды спорта идеологически чужды моей психологии. В «одиночках» я слишком одержим своей личной победой, а это лишает лёгкости.

Вовка лёгок. Он родился победителем. Уверенность в победе у него в крови. Ему не надо думать о ней, поэтому он может отдаться игре настолько, насколько это вообще возможно. Всё, что его интересует: как далеко можно уйти по той или иной дороге... Сейчас я его ненавижу, он бесит меня до самых глубоких моих печёнок.

Небольшого роста, коренастый, ловкий, он азартно смеётся мне прямо в лицо. Его раскосые корейские глаза сверкают, как карборунд, кусок которого нам удалось стащить на прошлой неделе с близлежащего завода. Мне хочется бросить этот ошмёток вонючей бараньей шерсти ему прямо в морду. Он знает о моем гневе, и это его забавляет ещё больше. Но мы оба понимаем: он не будет меня мучить долго. Только не меня. Я иногда взрывоопасен, и потом, я ведь его кореш. За Вовкой давно закрепились слава главного хулигана в его весовой категории. Быть его дружбаном – большая удача для любого в школе, но я знаю его гораздо ближе, чем остальные... и он для меня просто Вовка или Вовчик.

Не знаю, читали ли на ночь Вовке медицинскую энциклопедию и пугали ли грязными горшками, наверное, да, но только Вовке было всё побоку. Родители запрещали своим детям водить с ним дружбу, а его собственный папенька даже перестал ездить на охоту – продал ружьё, порох и всё, что хоть как-то могло гореть, шипеть, стрелять и взрываться, когда Вовке исполнилось лет семь. Володе прочили блестящее будущее. Учителя не без гордости заявляли, что впервые они единодушны во мнении: по ком тоскует тюрьма на Куйбышевском шоссе? Конечно, по Цюю! При этом он был жутко обаятелен, сметлив и ремнеустойчив. Он учился на класс старше меня и жил в соседнем доме, можно сказать, через забор. Наше первое совместное приключение (именно приключение) было пронизано смесью дичайшего счастья,

чувства вины и чего-то ещё, что я понять тогда был не в силах. Впрочем, такое сочетание эмоций было нормой в наших отношениях. Я был в первом классе, он в во втором. Это была продлёнка. Учительница, дав задание выводить в прописи заглавную букву «П», вышла из кабинета обсудить с физруком какой-то вопрос. Не успела она выйти за дверь, как на козырьке ленточных окон нашего класса появилась чёрная пыльная голова Вовки, и после коротких уговоров я сбежал вместе с ним через окно, роняя по дороге прописи и содержимое пинала. По этим крошкам стандартного набора первоклашки нас могли бы легко выследить, поэтому мы петляли подворотнями и непроходимыми трющобами, пока бесследно не исчезли в брюхе Тезиковского базара.

Мы рыскали там, как голодные коты, веря, что после большого воскресного торга на месте продажи рыбок, голубей, хомяков и собак сиротливо валяются и ждут нас обронённые трёшки, рублики или даже иностранные деньги. Ничего не нашли. Зато выпросили у старого торговца насваем кулёк этого вонючего зелья и незаметно скатили к речке небольшой арбуз мраморного сорта. Тогда был ещё в ходу этот местный тип бахчевых, пока через пару-тройку лет его не вытеснил тёмно-зелёный «американец», который вкатился в душу колхозника своей плодовитостью, а в душу потребителя – относительно меньшим количеством черных семечек...

Булыжником раскроив арбузу черепушку, мы руками выели из неё его красную зернистую мякоть, и арбузный сок,

как я ни старался, розовыми подтёками оставил след на моей белой рубашке. Затем мы весело бросали корки в древний замусоренный канал, который все зовут речкой Салар, распугивая в его зелёных водах вислохвостых ондатр да чёрных нырков. Эти места, бывшие некогда охотничьими угодами купца Тезикова, где он, по легенде, охотился на туркестанских тигров, а когда тех не стало, устроил свои мануфактуры, теперь, в моё с Вовкой время, представляли собой промзону, в которой островками были натканы узбекские махалы, русские рабочие слободы да базар, напоминавший своей формой резиновую грелку с двумя входами: в верхней части и нижней.

В обычные дни это не базар, а базарчик. Сонная цепь продовольственных лавок и магазинов, где торговали преимущественно азербайджанцы с «Оборонки», а вот в выходные... О! Какое-то волшебство происходит с базаром в субботу и воскресенье! Мне всегда виделось, что прямо из его центра, из облупившейся, закопчённой лагманной, скорее всего, из огромного, покрытого благородным чёрным нагаром казана для плова, затемно начинают вылезать тысячи торговцев, которые плечом к плечу занимают все нутрецо Тезиковки, а когда их становится слишком много для неё, она выпучивает их из обеих своих отверстий наружу, на прилегающие улочки, во всех возможных направлениях. И город, трёхмиллионный город, а также его предместья знают: в субботу и воскресенье улица Стародубцева от ГАИ и до



железной дороги, а также улица Першина от вокзала до авиагородка – сплошь пешеходные, то есть движения автотранспорта в эти дни там нет.

Люди идут сюда, дыша друг другу в затылки, чтобы купить чёрт знает что (от велосипеда и мельхиоровой вилки с обломанным зубцом до ястреба-тетеревятника и мотыля; от китайского сервиза какой-нибудь тёти Сони, которой не с руки это всё тащить в Капернаум, до набора фрез и рыболовных снастей какого-нибудь дяди Коли, который давно уже сделал своей профессией «тезиковать» по выходным). На этот базар едут из различных областей республики на колхозных ЗиЛлах, газиках и пазиках, увозя отсюда горы подушек, стульев, одеял, «Горизонтов», «Фотонов», «Рекордов», «Бирюс», «Минсков», «Малюток» и прочих брендов совкой бытовой техники.

Самое узкое и тесное место барахолки – это мост через Салар. Он покрыт старым асфальтом и дырявый по тротуарам. Под ним гнездятся крысы, и мы решили навести там шороху. Когда крысы все попрятались, Вовка предложил искупаться. Воды в Саларе было по пояс, но течение довольно быстрое. Да и напоминал он больше сточную канаву, куда заводы и частные дома выше по течению сбрасывали свои фекалии, впрочем, пескари и ондатры там как-то уживались. Да и был сентябрь. Короче, мне не хотелось. У Вовки же к воде была какая-то непостижимая потусторонняя тяга. Именно тогда я впервые столкнулся с дьявольской чертой характера

моего товарища. Он уговорил меня снять ботинки и просто помочить ноги. Я согласился, лишь бы, что называется, отстал. Каково было моё удивление, когда я увидел, как мимо меня проплывает мой собственный правый ботинок, а Вовка с серьёзным видом бежит по берегу и кричит, что надо скорее лезть в воду и спасать обувь... Ботинок и вправду было жаль. Мне лично очень нравились эти ботинки. И правый, и левый. Они были на модных липучках. Мама купила их мне в Ленинграде за бешеные деньги и какие-то ещё купоны в то время, когда я и моя бабушка честно несли бремя Русского музея... Я бежал по берегу, попутно сбрасывая с себя штаны и китель школьной формы под почти маршевый задор Вовчика, орущего: «Скорей-скорей!» Но, на моё несчастье, где-то в районе ОМЗ-2 (опытно-механический завод) мой ботинок угодил в водоворот, набрал воды внутрь и скрылся в зелёных водорослях, гипнотически мотавшихся из стороны в сторону, как в одном фильме для взрослых. Я надулся и совершенно не верил в то, что мой ботинок стащила в воду крыса, но, после того как Вовка собственноручно соорудил на моей правой ноге носок из полиэтиленовых пакетов времён Кокандского ханства и перевязал это всё алюминиевой проволокой эпохи первых среднеазиатских паровозов, чтоб я мог идти, я, сделав несколько пробных шагов, объявил мир.

Дома уже все знали, вернее, дома знали главное. Что я сбежал с продлёнки и с кем я сбежал. То, что я потерял пра-

вый ботинок, не знали, а когда узнали и увидели, что у меня на ноге вместо него, опустили на мгновение руки. Затем папа бросал в меня тапки, а Вовку, кажется, стегали прутом...

## 2

С тех пор мы много где побывали, старясь выстраивать график наших приключений таким образом, чтоб он не пересекался с графиком продлёнки или какой-нибудь штуки в этом роде.

В нас был страх. Здоровый натуральный страх, но была и отвага непуганых идиотов, и чисто инстинктивное щенячье любопытство. Чего в нас не было, так это тревоги. До этого демона было ещё далеко, им страдали наши родители, которые не знали, как им теперь быть в этой мешанине всеобщего развала.

Что для одних кошмар, для других малина – нашим сердцам повезло со временем. Коммунальные службы работали спустя рукава. Заводы ещё хуже, а охранники на их проходных стали приравнивать спящих то там то сям детей к бродячим животным и совершенно перестали насупливать брови и разве что изредка окликали сорванцов, чтоб те не зевали под «стрелой» или что-то в этом духе.

К нашему великому счастью, кажется, никто больше не хотел брать ответственность за шлагбаум, турникет, за забор и колючую проволоку на нём. Всё стало обмякать и облупли-

ваться. Шпингалеты сами выскакивали из уборных, у замков куда-то пропал сторожевой оскал, двери стояли распахнутыми и гостеприимно скрипели в ожидании новых владельцев, которые пока занимались вещами поважней. Мы ходили везде, где хотели. На деревообрабатывающий завод мы лазили, как к себе домой, наблюдая, как огромная машина с оглушающим куражом превращала обрезки пиломатериалов в древесную муку; там же, переполняемые до самых ячеек ужасом высоты, взбирались на сорокаметровый башенный кран, чтобы напиться зрелищем того, как летит вниз бумажная эскадрилья, сконструированная из листов наших школьных тетрадок. И она летела широкими плавными петлями, унося на своих крыльях красные чернила наших двоек, словно советские звёзды... На стекольном заводе мы кувыркались с двадцатиметровых гор белоснежного кварцевого песка вниз чуть ли не под самые колёса уставших от непосильного труда локомотивов, у которых не хватало силы даже погудеть нам как следует... И хоть бы одна сторожевая собака оскалилась на нас. Только водоканал ещё как-то держался и отвечал нам своим неизменным твёрдым «нет» на все наши инсинуации в отношении его пожарного бассейна. Роддом же и вовсе вёл себя как тряпка. На проходной сидел пузатый дядя Занит, наш сосед, и он не видел ничего плохого в том, что мальчишки, которые здесь же и родились, порыскают вокруг фонтана, насшибают себе фруктов в саду, заглянут в мусорку, в окна женской консультации и потаращатся в грязное чёрно-белое

нутро нерабочего морга... Правда, мы всегда предпочитали не проходную, а забор.

В наших приключениях мы почти всегда были заодно, я по привычке к выходкам моего товарища, но иногда, когда он перегибал палку, наши путешествия обрывались жёстко и надолго.

Как я и сказал, в нас был страх, и нам иногда нравилось его расшевелить.

Морг был отдельно стоящим домиком на задворках роддома. Он был всегда пуст и безлюден. Даже не знаю почему. Может быть, потому что был просто здесь не нужен, а может быть, потому что наш график никак не мог совпасть с графиком какой-нибудь смерти.

Он пах странно, какой-то неприятной химией. Внутри было темно, едва угадывались предметы через царапины в белой краске на его окнах. Обычно он был закрыт на висячий дореволюционный замок системы «наган» или что-то в этом роде, но в этот раз замка почему-то не было, а деревянную, со следами лака, оранжевую дверь подпирал валун, а вернее, кусок бетона, просто чтоб она не была открыта. Мы с лёгкостью отопнули камень, и дверь сама распахнулась, выпуская наружу химозный воздух. Первое, что я увидел, была коричневая белая кафельная плитка, которая пыльно квадратила пол сумрачного коридора казённым узором. Далее комната, где виднелись какие-то полки, склянки и край металлического стола с характерными бортиками. Картина заброшен-

ного медицинского учреждения щекотала нервы почище вызывания пикового короля в комнатухе у Вички при свете одной-единственной восковой свечи...

Мы долго препирались, идти или не идти, наконец Вовка предположил, что внутри мы можем найти скальпели. Нет, они там точно есть! Блестящие, новенькие (ведь морг ничего не режет со времен царя Гороха!) и такие острые, что могут раскроить даже бетон! Скальпели – это хорошо, иметь свой личный скальпель, разрезающий бетон, – это очень здорово. А если их там много, то можно будет загнать их на школьной бирже за серьёзные деньги. Я пошел вперёд. Вовка за мной. Сделал всего несколько шагов внутрь, но очень скоро остановился у входа в большую комнату. Идти дальше мне категорически не хотелось. Было не то что страшно (страшно? безусловно) – меня накрыла какая-то безутешная тоска, которая, развязав мне пупок, высасывала из него все соки прямо в чёрное, крытое металлической решёткой квадратное отверстие под ужасным, напоминающим ванну столом.

Не успела в моей голове мелькнуть мысль «Ищи сам свои скальпели! А я отваливаю», как широкая полоска света, лющегося из-за моей спины, с деревянным хрустом схлопнулась. Я оглянулся. Это Вовка закрыл дверь и быстро припер её камнем. Я ринулся к двери. Дверь, к моему ужасу, не поддавалась, камень как-то заклинил её, так что я не мог её открыть до конца. Я кричал и тарабанил в дверь. Меня обуял панический ужас. Мне казалось, и моё воображение преда-

тельски удесят�еряло ощущение, что позади меня что-то есть, оно медленно движется, сверля меня глазами, и вот-вот дотронется до моей головы... Откуда-то снаружи, со стороны окон, я услышал издевательский Вовкин крик:

– Сзади, сзади! Она идёт! У неё чёрная рука! Атаc!.. Уу-ууу, кто вызваал чёрную даму?

Волосы зашевелились у меня на голове. Я инстинктивно оглянулся, но увидел лишь то, что пыль в луче света, проникающего через окно, медленно кружилась как ни в чём не бывало, только всё было ближе. Так близко, как будто я смотрел на всё через бинокль. Мне было физически больно такое виденье. Я стал ещё сильнее ломиться в дверь, а потом стал просто в отчаянии орать в щель:

– Дядь Занит! Дядя Занит!.. Занит-ака! Помогите!

Через мгновение я услышал, как камень зашуршал по асфальту, и я стал толкать дверь ещё сильнее и нетерпеливее. За дверью Вовка ругался:

– Отпусти дверь, дурак, я не могу вытащить камень.

Но я не переставал звать на помощь и толкать дверь, создавая тем самым усилие, которое ещё больше вклинивало камень между асфальтом и дверью. Наконец Вовке удалось выбить камень из-под двери, и дверь распахнулась с такой силой и так шарахнулась о стену, что сторожку морга потрянуло, как от землетрясения.

Первое, что я увидел, было глуповатое лицо Вовки. Он пытался отшучиваться и весело спрашивал: «Зассал? А?..

Зассал? Нашёл скальпель? Дай посмотреть-то».

Я скулил и терял слёзы. И тут до Вовки допёрло. Он перестал скалиться и замолчал. Я почему-то поднял глаза на грязно-жёлтый родильный корпус и в окне второго этажа увидел немолодую роженицу в синем домашнем халате. Она смотрела на нас, как на идиотов. Заметив, что я смотрю на неё, она открыла окно и стала костерить нас за бестолковщину, но негромко, почти шёпотом, словно боясь разбудить кого-то. Я быстро зашагал прочь, утирая слёзы.

Вовка бежал за мной по пятам, извинялся и совал мне окурки, которые мы до этого насобирали под балконами четырёхэтажки. Где-то у общаги я взял бычок «Родопи» и закурил. Меня начало отпускать, но тут Вовка, хитро улыбнувшись, сказал: «А ты, оказывается, ссыкло...»

Это был перебор. Мы крепко подрались и долго не общались после этого. То была самая длинная наша размолвка.

### 3

Сошлись мы вновь, кажется, тогда, когда на абрикосовых деревьях только-только появились зелёные начатки этого фрукта: шерстистые, с ещё нежной косточкой, кислые... Дети нашего возраста и намного меньше вопреки регулярным поносам не слезают в эту пору с урючин. Набивают дау-чой (зелёный урюк по-узбекски) карманы, поедая его вместе с солью. Я и мой товарищ Марлен сидели под облепленным



тлѣй абрикосом и поедали свою добычу. Марлен, кряжистый крымский татарин, интересующийся техникой, был буквально антиподом Вовки и действовал на меня благотворно и успокаивающе. Он учился в так называемом гимназическом «А» классе и ходил в филармонию на класс аккордеона. Меня до невозможности забавляла эта его огромная гармошка с пианинными клавишами, на которые он грустно нажимал по вечерам после школы. Его график – не чета нашему – был плотно забит обязанностями, и вырвать его из их жѣстких направляющих в те времена начальной школы бывало отнюдь не просто. Но то было воскресенье. Я не поехал к своим дедушке и бабушке на Чиланзар, как бывало каждые выходные, и вот мы здесь. На задках общаги, в тенистом закутке.

Абрикос здесь никому не принадлежал, то есть принадлежал какому-то гаражнику, чей гараж укрывался здесь же, но это всё равно что абрикос был ничей. Большая удача найти фруктовое дерево без какой-нибудь ведьмы на привязи, которая не иначе как трещинами на своих пятках чувствует таких ухарей, как мы, за целый километр и стережѣт свои фрукты, как когда-то французы линию Мажино. Так вот, абрикос был ничей, и знали о нём немногие. Что тоже немало важно. Но Вовка, конечно, о нём знал. Он неожиданно заявился сюда с соседским парнишкой Андрюхой. Вовка деликатничал со мной. Мы обходили острые углы. У меня и Марлена на голове были отцовские шлем-маски из прозрач-

ного оргстекла для производственных работ, которые в нашем случае играли роль футуристичного военного костюма, и Вовку маски тут же заинтересовали. Он взял маску у Марлена, повертел, постучал, затем отдал Андрюхе и велел надеть на голову. Андрюха, странный заторможенный тип, который до сих пор читал по слогам и учился в спецшколе, весело напялил маску на себя. Вовка велел ему отойти на пять шагов, а затем, вытащив из кармана свою рогатку из проволоки и венгерки (тонко нарезанной резинки), стрельнул точно по маске, не дав Андрюхе сообразить, что происходит. Скобка из алюминиевой проволоки звонко отскочила от защитного стекла, и я и Марлен ощутили прилив гордости за наши спецдевайсы. Потом я, нахлобучив свою маску себе на голову, попросил стрельнуть и в меня. Вовка с удовольствием согласился проверить прочность и моей защиты. Он прицелился в меня, я увидел, как его узкие хитрые глаза загорелись. Он стал медленно водить рогаткой из стороны в сторону, как бы подыскивая цель на мне. Конечно, он не мог отказать себе в удовольствии устроить какую-нибудь провокацию и побесить меня. Наконец он выстрелил. Я вздрогнул. Скобка отскочила от стекла, и мы все радостно загоготали. . . Я дал Вовке свою маску и, в свою очередь, стрельнул в него. Маска держала удар, счастью моему не было предела.

Мы сидели кружком и болтали как ни в чём не бывало, поедая неспелый абрикос.

Вовка, сплюнув сквозь зубы избыток сока, вдруг сказал:

«Хотите, покажу... гондон?»

Через минуту мы были у входа в подвал, который представлял собой крытое крыльцо, на десять ступеней уходившее вниз к широкой стальной чёрной двери, на этот раз запертой. Там внизу пахло лягушками, мочой и мокрыми окурками. Мы сидели на ступенях, а перед моим лицом в маске, связанный в узел под самую горловину, висел понурый презерватив, надетый на прут. Крепко стиснув губы, я с любопытством рассматривал резиновое изделие, внутри которого сопливилось что-то напоминавшее сгущёнку... Вовка сбросил презерватив с палки и, поддев ещё один, поднял его к защитным экранам наших масок близко-близко. Мы отшатнулись:

– Видали? А этот розовый... – сказал он.

– Агааа... Здесь их навалом...

– А тот вон с усиками... Интересно, кто тут?..

Бросив презерватив в Андрюху так, что тому пришлось неуклюже отпрыгнуть в сторону, Вовка пожал плечами:

– Шалавы какие-нибудь, да, Андрюх?

Я с томительным любопытством рассматривал «место преступления», где следы недавней и регулярной сексуальной активности были такими близкими и живыми. Я принялся и прислушивался. Это место – чей-то грязный и сладостный секрет – будоражило меня, и в этот момент я не мог дожидаться часа, когда стану взрослым и вся эта генитальная матерщина, которая давно уже стала частью нашего улично-

го лексикона, обрaстёт наконец живым мясом...

Как-то, когда сумерки опустились на город и на нашей улице железобетонные столбы загорелись белыми лампами, которые мы ещё не успели хлопнуть из своих рогаток, ко мне прибежал Вовка и зловеще произнёс в форточку, откуда я высунулся по пояс:

– Они в подвале.

...Мы бежали, пригибаясь, будто разведчики-ниндзя. Я раздувался беззвучным хохотом, он щекотал мне рёбра и солнечное сплетение. Вовка был серьёзен и всё время подгонял меня. Мы обежали общагу вокруг. Залезли, тяжело дыша, по оконной решётке в форме хлопковой коробочки на одноэтажную крышу пристройки и проползли на карачках к противоположному краю, откуда мог быть виден внутренний двор и подвальное крыльцо.

Меня всегда удивляло, что в четырёхэтажном бледно-кремовом здании общежития проектного института совсем не было наших сверстников. Казалось, что его населяют одни фиолетововолосые вахтёрши в зелёных куртках с шевронами «БАМ» да длинношеие молодые девицы с младенцами в скрипучих колясках.

Плоская крыша пристройки, покрытая мягкой смолой и толем, была ещё теплая от дневного солнца. Из нескольких окон общежития, горящих телевизионной радугой, негромко доносились детские визги, «Вращайте барабан» и прочие команды.

Внизу было темно. Два чёрных силуэта близко друг к другу сидели на бетонном парапете под кроной старого тутовника... Силуэты курили. Я вперился в них с такой силой, что, кажется, стал терять скорость и ужасно замедлился. Огоньки сигарет медленно отпускались то вниз к коленям, то вверх к губам, оставляя в темноте красный памятный след о своём странствии. Не хотелось двигаться. Мне было хорошо и радостно лежать на тёплой, мягкой крыше. Вдруг раздался женский смех, и я, встрепенувшись, сразу же узнал этот характерный смешок. Я посмотрел на Вовку и прошептал: «Это... Наташка?!»

Вовка молчал. Он сделал мне знак «тише» и кивнул мне смотреть. Через какое-то время два силуэта сблизились головами. Они долго и нудно целовались. А потом, не расцепляясь и щупая жадно друг друга, поднялись и спустились по ступеням в подвал. Внизу их было совсем не видно. Вовка вытащил из кармана рогатку и велел сделать мне то же самое. У меня была большая жгутовая рогатка, стреляющая камнями и гайками (из неё я мог достать солидного сизаря из-под крыши четырёхэтажки). У Вовки была его, лёгкая. Из медной проволоки и трёх-четырёх скрученных в косу венгерок. Он шепнул мне стрелять во тьму. Я сделал вид, что зарядил камень и привстал на колено. То же самое сделал мой товарищ. Чернота у двери в подвал была почти непроницаема и притом заманчива, как бархат театральной кулисы, на которой я, тем не менее, различал какое-то движение или вооб-

ражал, что различаю. И слышал как будто дыхание и иногда стоны. Хотя вряд ли... Во рту у меня пересохло, меня трясло от возбуждения. Ночь звучала так, как звучит море, запёртое в валторну ракушки, – томительно и сказочно. Я понимал, что через секунду я разожму пальцы, и тончайшая паутина из шпионского счастья, взрослых тайн и чего-то ещё будет скомкана и сменится глупым шухером... Понимал, и мне этого не хотелось.

– А если попадём в Наташку? – спросил я умоляюще.

– Не попадём... На три-четыре... Три... Четыре!

## 4

До того, как я пошёл в первый класс русской средней школы № 93, что была на Тезиковке, мы жили на Чиланзаре в квартире у дедушки с бабушкой по материнской линии. У меня была там целая куча друзей, и мне там нравилось больше. Каждую субботу меня и мою младшую сестру дед увозил на своём болезненном зелёном «москвиче» к ним домой, а в воскресенье вечером, аккурат к началу «Утиных историй», привозил обратно.

...Я вставал раньше всех, пробирался на цыпочках в гостиную, брал, наверное, с румынской или гэдээровской стенки тяжёлый, с серебряной резьбой и узкой горловиной, медный жбан, набитый мелочью, и тихонько набирал из него рубля два-три. Одевался и без завтрака (если, конечно, дед

не готовил яичницу с помидорами и мелко нарезанными сосисками) выбегал из дома и зайцем ехал на четвёртом трамвае на Фархадский базар, где покупал крепкий маслянистый насвай у знакомого торговца. Насвай, по назидательным слухам, ходившим среди европейского населения Ташкента, делался из куриного помёта. Это, конечно же, не так. С чего бы людям сосать куриные фекалии? Впрочем, если бы фекалии вставляли... Короче, нет. Но точного рецепта я не знаю до сих пор. Что-то там с негашёной известью, табаком, ореховыми листьями... Не в этом суть. А суть в том, что для малолетних курильщиков насвая он интересен с той точки зрения, что, например, запах сигаретного дыма довольно въедлив, как известно любому курильщику, и нужно тщательно заботиться о месте и времени курения, чтоб не быть пойманным, с насваем же всё обстоит иначе. Во-первых, хотя он и пахнет отвратно, надо сказать прямо, тем не менее его душок к вам не цепляется. Достаточно просто сполоснуть рот. Во-вторых, его легко скрыть. Можно разговаривать с родаками или училкой в «закидке», если, конечно, вы натренированный пользователь и нервы у вас в порядке. И хотя употребление насвая наносило некоторый репутационный урон типа: «Фу, это же бабайская хрень...» и т. д. (бабаями презрительно называли старогородских и деревенских узбеков), нас это не очень волновало, вернее, мы легко находили в себе силы с этим мириться. Где репутация, а где кайф?! Тектонический сдвиг сознания пубертатной эпохи ещё не наступил,

так что можно расслабиться, визжать и хрюкать, не думая, как к этому отнесётся какая-нибудь особа. И даже потом, когда эта самая Катюха или Настюха, словно по мановению волшебной палочки Фрица Перлза, превратится для нас из *фонового* заполнения интерьера в притягательную *фигуру* с модной стрижкой, бюстгальтером и остальным, даже тогда, тщательно скрываемая пагубная привычка курить насвай будет успешно конкурировать с более репрезентативной и соответствующей облику юного европейца привычкой курить сигареты с фильтром...

Но, строго говоря, насвай не курят, его кладут под язык или под губу, можно под нижнюю. Можно под верхнюю. Кладут, а зелёную, вобравшую в себя сок этой отравы слюну сплёвывают. Насвай – это зелёный порошок, скатанный в малюсенькие маслянистые цилиндры – баши. Держат их в целлофановом пакете или герметичном пузырьке, чтоб не засох. От засохшего – толку никакого. Берут немного, башей шесть, если переборщить, то стошнит. Поначалу всех тошнит. Потом приноровляешься. Главное, не глотать слюну. И, наконец, самое ценное: удовольствие от насвая несравнимо с наслаждением, получаемым от обыкновенного курева.

Вовку с насваем познакомил я, привезя пакетик этого зелья с Чиланзара. Это было в воскресенье. А почему я помню, что это было воскресенье? А потому что в то утро мы бегали во дворе церкви христиан-евангелистов на соседней улице, а воскресенье – день собрания.



Мы тёрлись возле пустого бассейна для крещения. Терлись и гадали, когда его наполнят. Мы не очень походили на мальчиков из паствы, но гнать нас никто не осмеливался, и даже наоборот...

Нас увидела Богомолка. Школьная подруга моей бабушки – высокая, смуглая, с впалой грудью и выпяченным животом старушенция в коричневом шиньоне, смердящем старостью, поверх которого был накинут газовый белый платок. Заметив меня, она оторвалась от группы таких же молитвенников и, мягко схватив за плечо, так что я чуть не рухнул в бассейн, велела мне и Вовке идти за ней.

Она не дала нам опомниться и была весьма настойчива, поминая всё время два слова: «благо» и «радость». Много лет подряд после воскресного богослужения тетя Инна, или Инка, или Богомолка, так звали эту женщину в нашей семье, ходила в дом к моей бабушке по отцовской линии, чтоб за тарелкой супа рассказать ей о летающих тарелках, великанах, ковчеге в снегах Арарата, о тысяче и одном рецепте из тыквы и, конечно, о «живом» присутствии Христа в их церкви. Но моя бабушка была из породы тех православных советских людей, для которых печь куличи, красить яйца и навещать покойников на кладбище в день светлой Пасхи (по григорианскому календарю, разумеется) являлось единственно понятной формой религиозного общения со Всемогущим Творцом. Сдвинуть её с этих позиций не смог бы ни Лютер, ни Кальвин, ни даже Якоб Арминий. Моя бабушка, царство

ей небесное, была человеком цельным, завершённым или, проще сказать, была необновляемым девайсом. Тем более американской ересью. Но тетя Инна решила зайти с другой стороны, увидев меня в Доме молитвы – так баптисты называли свою двухэтажную постройку, облепленную серой мраморной крошкой.

Она отвела нас на цокольный этаж, где у них была библиотека, столовая и что-то вроде актового зала. Нам сразу же выдали по детской библии с изумительными картинками на мелованной бумаге и усадили на пухлые скамейки рядом с нарядно одетыми детьми разного возраста. Всё было так непривычно и незнакомо, что мы сразу же съёжились и затихли. На сцене группа подростков, одетых в белые балахоны, тянула довольно мелодичную и жалостливую песню. Им аккомпанировал молодой мужчина-кореец на новеньком синтезаторе «Ямаха», и надо сказать, что актовый зал или игровая комната и вообще всё внутри церкви было оборудовано по последнему слову техники того времени. И всё сплошь иностранное. Это не какая-то захудалая, истоптанная тараканами хаза кришнаитов на Будёнке! Американское присутствие в этом Доме молитвы было более чем духовно. Ходили слухи, что количество полученных миграционных виз по душеспасительной линии настолько потрепали паству ташкентской церкви, что к десятым годам 21-го века от жирных, прямо-таки базарных толп прихожан девяностых годов осталась жалкая струйка не то престарелых патриотов, не то про-

сто тех, кто не успел запрыгнуть в зелёный поезд до штата Виргиния.

Очень скоро простую и чувствительную песню подхватил весь зал, и без песни представлявший собой давно и хорошо сплочённую группу, в основном детскую. Только несколько взрослых находилось в зале.

Нам, конечно, стало бы стыдно за свою грязь под ногтями, репей на штанах, за рогатки, за незнание слов религиозного гимна чернокожих невольников США, но было реально не до этого... Меня уже начинало мутить, а Вовка был и того хуже: он был весь зелёный, как кулиса на сцене. А всё потому, что Богомолка затащила нас сюда как раз в тот момент, когда мы только-только закинулись насваем. Насыпав в ладошку Вовке всего два башика, я сказал: «Слюну не глотай, только почувствуешь кайф – сплевывай всё».

Теперь мы сидели в подвале, слушая хор с ртами, полными слюны. А в дверях стояла тетя Инна и благостно смотрела на меня, шамкая своим ртом припев: «Скоро, очень скоро мы увидим Царя! Аллилуйя, Аллилуйя, мы увидим царя!» Она особенно демонстративно открывала свой рот на слове «Аллилуйя», как бы приглашая меня присоединиться к общему пению.

Вместе с тошнотой к горлу подступало ощущение катастрофы под всё нарастающий всеобщий экстаз. Действовать нужно было уже 5 минут назад, когда, цокая по керамической плитке своими задеревенелыми от времени кожаными

босоножками, она вела нас по длинному коридору мимо туалетов, а теперь надо было просто спастись.

Я открыл «самую лучшую книгу на земле», выбрал первую страницу без картинок с надписью «Дар Гедеоновых братьев» и, стараясь быть как можно тише и незаметней, вырвал её. Сделав быстро неловкий кулёк, я, пригнувшись к полу, сплюнул туда всё, что у меня было во рту, и приказал сделать то же самое Вовке, но было уже слишком поздно. Даже не взглянув на куль, Вовка, качаясь, как пьяный, дёрнулся к двери, но, не успев сделать и двух шагов, согнулся пополам, и его вывернуло наизнанку прямо на новенький янтарный паркет. Зал тут же скис, как пробитый надувной матрац.

Мы выходили из Дома молитвы, Вовка всё ещё был бледный и шатался. Сердобольные евангелисты во главе с молодым корейцем Николаем (тетя Инна куда-то задевалась) норовили нас проводить, но я сказал, чтоб ни в коем случае не отвлекались из-за нас от своих насущных дел, тем более что мы местные. И вообще, соврал я, мы собираемся вернуться. Всю дорогу я испуганно вился вокруг товарища и пытал его вопросом, держа в руках наши две тяжелые детские библии:

- Как ты?.. Что скажешь родакам, если спросят?
- Скажу... погоди, – Вовка присел на траву. Его несколько раз рефлекторно дёрнуло спазмом, но он был уже совершенно пустой. Отдышавшись и утерев слюну, он продолжил: – Скажу, что переел...

Мне была не очень понятна такая отмазка, ну да ладно.

Мы поклялись больше не употреблять эту дрянь, и я решительно и злобно выкинул пакетик с насваем на шиферную крышу ближайшего одноэтажного дома.

Но правосудие за святотатственный поступок всё-таки настигло меня. Дома, выворачивая карманы олимпийки перед стиркой, мама обнаружила раскисшие лохмотья мелованной бумаги и среди них зелёные баши насвая. Меня поставили в угол, а пред этим стыдили, называли «бабаём» и «навозником» и сказали, что лучше бы я курил. А отец добавил: «Это всё Вовка, его влияние!»

А тётя Инна, которая пришла точно к обеду, даже не вспоминала о Вовке, а всё хвалилась качеством библии, которую мне подарили в их церкви. Картинки и вправду были красивые. Библия понравилась всем.

На какое-то время мы перешли на сигареты.

## 5

– Ладно, прощаю, – сказал Вовка и мягко подкинул лягну мне в руки. Я без труда поймал её. И, сплюнув насвай на землю, он добавил: – Надо сходить попить.

Вовка и я, мы уже опытные, нам по одиннадцать лет. Насвай можем держать долго. А если он под верхней губой, то научились уже и слюну сглатывать без последствий. Так реально и целый урок высидеть... и баптистский концерт. Раздался звонок. Это баба Дуся старается. Долго жмёт. Специ-

ально для нас и тех, кто за воротами школы застрял в очереди перед дверью дяди Жени (предприимчивого соседа, превратившего свой дом в лавку со сладостями). Мы шли в гурьбе школьников через широко открытые металлические синего цвета ворота, одна из створок которых почти упиралась в трансформаторную будку. Размером та будка была с небольшой сарай. Вся металлическая, с двускатной крышей. Гудела невыносимо ровной нотой. Стояла она почти у самого бетонного забора, отделявшего школу от остального мира. Между ней и забором было пространства метра полтора. Когда школьные ворота были настежь открыты, как теперь, пространство между будкой и бетонной оградой превращалось в невидимый закуток, который использовали все, у кого была потребность скрыться от посторонних глаз.

Я не могу ответить на три главных вопроса относительно этого технического средства. Первый: почему она находилась на школьном дворе. Второй: не была огорожена. И, наконец, третий: кто, когда и зачем отпер металлические двери со стороны забора...

Да, двери её были открыты. И мы, а также остальные, кому не лень, прятали там свои секреты: сигареты, насвай, карты, порнокарты...

Вовка шмыгает за синюю дверь, я за ним. За дверью, перед раскрытой трансформаторной будкой, как перед распахнутым сервантом, стоят несколько одноклассников Вовки и, поглядывая на длинные изящные сигареты в своих пальцах,

курят с важным видом. Перед ними, спиной к решётке, отделяющей гудящее нутро трансформаторов от случайного прикосновения и запертой на болт с гайкой, на стальном барьере сидят цыган Янош и его братец Вася. Пожав всем руки, Вовка вынул из кармана пакетик с наваем и сунул его в укромное место внутри будки, в буферную зону между бордюром и решёткой.

Янош сонно посмотрел на Вовку, на меня и улыбнулся. Весь рот – золотой. Ни одного белого зуба. Ходили легенды, что всё большое семейство Яноша, от распоследнего спиногрыза, у которого только-только молочные зубы сменились коренными, и вплоть до роскошного немецкого дога, носило исключительно коронки из благородного металла. Насчёт дога я лично сомневаюсь, но в остальном...

Янош был самым заядлым «первоклашкой» нашей школы. Он был одноклассником почти всех призывов, начиная с 89-го и заканчивая 93-м, с небольшим перерывом, когда табор переезжал на соседнюю улицу в дом попросторней. Наконец, когда щетина на его щеках стала требовать бритвы, родители деток здоровались с ним первые, путая его с поваром, а молоденькие училки младших классов стали отказываться оставлять его на дежурства, дирекция школы пошла на достаточно смелый шаг против директив района, перевела его сразу в пятый класс и тут же попросила старого барона забрать его из школы. Тем же путём решили идти со всеми отпрысками цыганского семейства, резонно до-

казывая барону, что нет смысла 9 лет (боже упаси 11!) тянуть ляжку. Учить дальше его внуков – только портить. Хотя барон и был в своём сердце согласен с тем, что всё, кроме письма, чтения и счета, – арбузные корки, понимал и другое, что аттестат, как и паспорт, цыгану всё-таки нужен. И забрал всех своих отпрысков в другую школу. Но Яноша и остальных просто магнитом тянуло обратно в альма-матер. Может быть, потому, что в другой школе он не имел такого оглушительного успеха, как в нашей. Та была всё-таки школой со спортивным уклоном. И, может, у них там с юмором хуже.

У Яноша же было странное закулисное чувство юмора. Сядет где-нибудь тихонько в столовой, закажет гору беляшей, сидит ест. Других угощает. Потом как будто невзначай бросит скомканную донельзя купюру под ноги очереди и отойдёт в сторонку. Стоит... Выжидает. Какой-нибудь мелкий, который ни сном ни духом, об эту бумажку споткнётся, оглянется по сторонам, загорится от счастья и ну бежать из столовки к дядь Жене за чупа-чупсами и чокопаями, а он тут как тут. Цап-царап. Но, что характерно, не бил, не ругал, просто брал паренька за руку и говорил: отдай. И всё. Отдал – иди. В чём прикол? В чём хохма? Бог его знает. Загадочна душа цыгана...

Янош медленно пытается надеть целлофан на «голову» пачки «Данхилл», из которой все с восторгом дымят. Мне неуютно здесь. Это Вовка тут как свой, а у меня некоторое время назад вышел конфликт с цыганами, и не сказать,



что он был исчерпан. Я засобирился уходить, но в это самое время Янош вдруг бросил в меня пачку со словами: «Ладно, на!» Моей реакции хватило, только чтобы неловко растопырить пальцы. Пачка ударилась о них и, вращаясь как вертолёт, перелетела через стальную оградительную решетку, застряв между какими-то проводами. У Яноша и остальных был такой вид, как будто я вытворил своими руками какой-то магический фокус.

– Эх ты... Ну, доставай теперь, – сказал он через значительную паузу и встал на свои иксообразные ноги. Большой, рыхлый. Джинсы почти сползли с бёдер. Подзатянув под животом кожаный плетёный ремень, он заговорил со своим братом, мешая цыганскую речь с русской, стреляя в него и в меня золотыми искрами. Вася стрелял в ответ.

Я промямлил, что у меня урок, достану потом, и засобирился уходить. Вася встал, ухватил меня за рукав моей джинсовой куртки и заговорил тихо-тихо мне прямо в лицо:

– Сейчас доставай. Чё курить будем?

Он был одет в длинный кожаный плащ и синие треники. И ещё он был кос на оба глаза цвета молдавского коньяка, и всегда, когда он глядел на меня, мне хотелось улыбаться, но я знал, что это чревато. Братья не кричали, не вопили, в них не было ни гнева, ни досады. Говорили тихо и гипнотически. Но было ясно, что они хотят зацепиться за меня.

Я смотрю на Вовку, как на спасителя, и он это видит, но его глаза хитро щурятся, а на лице блуждает лёгкая азартная

ухмылка. Меня неприятно полоснуло внутри. Опять начнёт свои игры, думаю я, нашёл время... Его прямо подмывает устроить какой-нибудь кипиш, и ведь знает, на 200 процентов знает, что у меня с косым и его братцем нелады из-за того, что я отлупил их кентяру... Вовка доволен своей шуткой и тем, что поймал меня, изобразив готовность растравить бучу. В секунду изменившись в лице, он встал между мной и Васей.

– Васёк, хорош. После уроков достанем. Слышь, хорош...

Мы идём с ним через футбольное поле, покрытое пылью и желудями. Крупные, блестящие, жёлто-коричневые жёлуди так и просятся в руки их пошвырять, но мы просто распыниваем их. Желуди падают на футбольное поле с огромных раскидистых дубов, растущих по его кромке. Мы идём к пристройке. Пристройкой же мы называли одноэтажное бетонное строение, примыкавшее к основному зданию школы, но не имевшее с ним внутреннего сообщения. В пристройку можно было попасть только через школьный двор. В ней было пять дополнительных кабинетов, в одном из которых у меня уже пять минут как идёт урок узбекского языка... У самой пристройки был врыт водопроводный кран с питьевой водой.

Сполоснув рот и напившись, Вовка сказал:

– Сегодня к Мише хочу зайти. Пойдёшь?

Я помялся. Цыгане испортили настроение, и я не знал, как теперь выкручиваться:

– Посмотрим... Лянгу заberi.

Вовка махнул рукой.

– Оставь у себя, – и повторил: – Пойдём! Вечером. Миша собирается в Чиназ, я с ним хочу. На электричке!

Я пожал плечами. Чиназ, конечно, дело хорошее, но маловероятное для меня. Сегодня мне не нравится Вовка. С самого утра он как будто какой-то особенно наглый и особенно меня раздражает своей хамоватой удалью и неутомимой выдумкой. И хотя он, скорее всего, решит все вопросы с цыганами, меня не оставляет навязчивое ощущение какой-то досады.

– Чё-то неохота, – ответил я и шагнул за стальную дверь.

Кажется, не было ребёнка в ту пору, который бы не щекотал себе язык батарейкой типа «Крона». В ней по ГОСТу 1,5 вольта, и когда влажный язык касался ее контактов, электричество, накопленное в ней, забавно щипало его кончик. В «батарейке», что стояла в нашей школе, напряжение было, как сказал трудовик, семнадцать тысяч вольт. Этого хватало, чтобы все электрические печи в нашей столовой пекли булки, кабинеты труда вертелись всеми своими крутилками, а все классы на четырёх этажах и спортзал освещались искусственным светом. И это не считая кабинета директора, учительской, подсобок, четырёх туалетов, актового зала, пристройки и, наконец, звонка и кипятильника баб Дуси... Семнадцать тысяч вольт – это кинетическая энергия многих кубометров бозсуийской речной воды, насильствен-

но преобразованной турбинами ГЭС в электрическую силу, выдержать которую и не превратиться в труху может только медный проводник толщиной с поливочный шланг. Если кто-нибудь из плоти и крови сунет палец поперёк этой дури, то со всем отчаянием своей изруганной природы она ухнет к железному ядру Земли через этого горемыку, как по проводу. Только молекулярная природа человека слишком сложна и поэтому слишком хрупка, чтобы быть кондуктором для такого рода транзакций. Человек ведь не кусок меди или алюминия, впрочем, случаи бывают разные... Бывает, шарахнет – и ничего. Только волосы перестают расти да ожоги не заживают. Долго. Превращаясь в трофические язвы.

Будка шархнула гулко, плотно, как будто кто-то взял и херакнул огромный-преогромный воздушный шар. В ту же секунду погас свет, и ни одна лампа, ни одна печка, ни один станок с этого момента уже не работали...

Взрыв застал меня в пыльном обшарпанном коридоре пристройки. Мося, маленький круглый азербайджанец, и я играли на бетонном полу в ляngu, выбивая из него серую цементную пыль. Играли потому, что мы опоздали к началу урока, и Юлдуз Мусурмановна, или Юлдузка, обычно мягкая и незлопамятная, решила сегодня включить стерву и запретила нам заходить в класс.

...Мы вылетели из пристройки и побежали к дымящейся будке. Ко мне навстречу бежал пухлый Мушек, одноклассник Вовки, на лице которого была пунцовая маска, как от за-

гара или от электрической сварки, когда долгое время варят железо без защитного шлема. Его глаза таращились и белели паникой: «Там... Вовчик, я не виноват».

Я и так знал, что там Вовка. Весь класс знал. Вся школа. Каждая собака. Непонятно как. Просто знали и не догадывались, что знали...

Мося шёл первый, я шёл за ним. Близко-близко. Я невольно взял его за рукав. Будка больше не гудела, но странно шуршала и потрескивала, как будто кто-то внутри неё разводил маленький костёр, подбрасывая в него сухие листья и клочки бумаги. Мы подбирались к её краю, словно это был край обрыва или крыши девятиэтажки... И чем ближе подходили к краю, тем сильнее я тянул Мосю за куртку. Мося увидел всё первый и, увидев, резко отбежал назад, стряхнув меня со своего рукава. Я остался один. Откуда-то сзади Мося кричал: «Он прилип... нужна палка!» Я крикнул:

– Вовчик!.. Вов...

Ответа не было.

Наконец я заглянул в проём между забором и будкой. В закутке было мутно, как в накуренном туалете. Сначала на бетонном полу я увидел белые кроссовки на липучках, которым так завидовал, затем ноги в синих вельветовых джинсах, чуть согнутые в коленном суставе. Почему-то Вовка лежал спиной внутрь. Из Вовкиной штанины всё время выползала белая струйка дыма. Она ползла мягко и скользко, как змейка; оторвавшись от кроссовок, теряла форму, растворяясь в

сизом воздухе пространства. Я стал сомнамбулически подаваться вперёд, чтоб увидеть всё целиком, но тут в моё плечо буквально вонзились ногти Юлдуз Мусурмановны, и она принялась оттаскивать меня от будки с такой силой, что я даже грохнулся на землю. Отовсюду к будке бежали люди...

В кабинете на меня напала истерика, я плакал и всё время спрашивал, почему его оттуда не достают? Ну почему так его долго оттуда не достают! Ему ведь больно! Какая-то старшеклассница прижимала меня к себе и говорила, что без врачей доставать нельзя. Из окна кабинета хорошо была видна и будка, и люди, которые копошились вокруг неё. Мы долго не покидали кабинет, хотя официально уроки прекратились, всех отпустили по домам... Смотрим. Ждём... Через некоторое время, наверное, через час или два, возле будки появились люди в белых халатах. В сердце почему-то вспыхнула надежда. Вспыхнула и тут же погасла, стоило только появиться носилкам и чёрному пакету, который потащили за будку.

## 6

Папа поставил серый, тяжеленный, похожий на компактный чемоданчик корпус бобинного магнитофона на деревянный порог. Размотав жёлтый провод, он воткнул штепсель в розетку. Электронное устройство времён отцовской молодости ожило, загорелось внутренним светом.

Мы сидим во дворе нашего дома. Мама наблюдает за отцом, а я нетерпеливо заглядываю то за одно, то за другое его плечо. Мне очень хочется магнитофон. Кассетник. Но папа не желает тратить деньги на плёнку. Во-первых, их нет, а во-вторых, у него амбициозные планы купить сразу музыкальный центр с двумя кассетными деками и, главное, с проигрывателем лазерных дисков. За этим, и не только за этим, он поедет в Норильск выкорчёвывать шпалы из вечной мерзлоты, потому как в его КБ дело дальше разговоров о разведении юсуповских помидоров, кроликов, курей и прочих съедобных и полезных друзей человека уже давно не идёт.

Перед отцом лежало несколько потёртых картонных футляров из-под круглых бобин с магнитной плёнкой. На них причудливым разноцветным шрифтом были написаны названия иностранных групп, года, а также названия альбомов... Он брал их по очереди в руки и, ностальгически кивая головой, показывал с гордостью маме и мне. Маме были безразличны все эти изысканные рок-н-роллы, её больше волновала практическая сторона этого вечернего ретрошоу: удастся ли папе хоть на время утихомирить моё нытьё, касающееся магнитофона. Наконец, сделав выбор, он намотал плёнку с кассеты на пустую бобину и трескуче щёлкнул тугой клавишей. Поплыла музыка. Отец довольно кивал ей в такт головой, притопывал ногами и глядел мне в глаза, стараясь передать мне свой кураж. Мне не понравилось то, что я услышал. Какая-то салунная дичь, как из старых ковбой-

ских фильмов. Колокольчики, банджо, фальцеты, какие-то смешные завитушки... У меня было столько надежд на папину коллекцию, а тут... Я готов был разрыдаться от разочарования. Опять я без электрического шума. Отец убеждал меня: «Да ты что! Ты послушай! Послушай! Её слушать надо, это ж не ваше «умца-умца-ум-ца-ца»!»

– Да не хочу я это слушать!! – почти кричал я. Подключилась мама. И уже мы вместе с ней наседали на отца. Словно устыдившись, музыка медленно стихла, и из шипящей тишины выплыла другая...

Когда же через 5 минут 55 секунд она закончилась, я был безоговорочно влюблён. Отец, счастливый счастьем апостола, уловляющего в свои сети сердца человеческие, быстро показал мне, как управляться с перемоткой и прочим, и пошёл с мамой к вечерним новостям, а я весь оставшейся вечер мотал и слушал, слушал и мотал эту странную песню, которую папа с чувством личной гордости назвал двумя непонятными мне словами: «Богемская рапсодия». Впрочем, остальные слова песни, кроме разве что слов «бейба» и «мама», были также за гранью моего понимания, но это было и неважно. Насколько мне известно, любят не «за», а «вопреки». Со временем я стал выходить за границы этой без пяти секунд шестиминутной композиции и стал вслушиваться в другие песни с этого альбома с мечтательной одержимостью.

В первые дни после гибели Вовки я только и делал, что крутил бобину с альбома «Королевы», стирая в прах магнит-



ный слой. События тех дней, мои ощущения и чувства навечно слились с той музыкой. Даже страшно, как работает память: после стольких лет на те мелодии наслоилась куча всего, но до сих пор сквозь все слои проглядывает дорожка той осени, саундтрек того дня, когда я в последний раз увидел его.

Перед Вовкиным домом, кирпичным, одноэтажным, с шиферной крышей, стоящим на перекрёстке улиц Фабричная и Алтайская, кишмя кишит народ. Сегодня Вовку повезут на Домрабатское немусульманское кладбище. Уже подъехал желтый пазик с чёрной продольной полосой и встал чуть поодаль. Люди без конца входят и выходят в открытую стальную калитку Вовкиного дома.

Я и Марлен шарахаемся от одной кучки соседей к другой, от одной компании школьников к другой. Одноклассницы Вовки и некоторые ребята стоят с заплаканными лицами и с цветами в руках. Я горжусь тем, что я твёрже, но почему-то пока ещё не решаюсь зайти внутрь и взглянуть на него, хотя мне хочется. Навязчиво хочется.

– Ой-ой, Аллу жалко! – причитает тётя Рая – бухарская еврейка, ближайшая соседка семьи Цоев. Некрасивая она, грузная. рыхлая женщина с тёмной клёцкой вместо носа, а дочь её Лиля – красавица! А сын Изька – тюфяк. Вечно путается у матери в подоле. Похож на барашка Экзюпери. Не того, который в ящике, а того, который до. Уедут через пару лет в Америку, а дерево куксултана, которое тётя Рая так

защищала от ограблений каждое лето, новый сосед спилит и сожжёт перед воротами.

– Говорила я ей в крайний раз: рожай ещё, пока не поздно...

Её суеверный ужас перед словом «последний» и замена его словом «крайний» неизменно делала больно моей голове.

– У Виктора-то есть ещё дети... Ой, Господи, и чё он туда полез?! Что ему вечно... – она махнула рукой.

Все молчат. Вопрос тети Раи – не вопрос вовсе, а так, формальность. Она, как ей видится, знает на него ответ.

При всём ужасе случившегося у всех похожее ощущение, что сложился какой-то страшный пазл, сложился окончательно и закономерно. Сложился потому, что не мог не сложиться: он ведь искал приключений на свою, будем называть вещи своими именами, задницу, и вот, пожалуйста! Нашёл. Кажется, даже у родителей Вовки было то же ощущение и у следственной группы, иначе как ещё объяснить тот факт, что никто в итоге не был наказан, никто не был привлечён к ответственности? Просто запаляли какие-то провода, поменяли резисторы, предохранители в будке, на оградительную решётку повесили замок вместо болта и заперли её внешние двери; да Татьяна Анатольевна – классная руководительница Вовки – ушла на несколько лет в другую школу. Зато слухов было! Кто что говорил. То ли его туда толкнули цыгане, то ли он сам туда полез не то за сигаретами, не то за чем-

то ещё. Мушек, который всё это видел и там присутствовал, с того самого дня перестал посещать школу, ни с кем не общался, а потом и вовсе переехал в другую страну. Только это всё мало кого действительно волновало. Все палочки и кубики тетриса легли тютелька в тютельку, и неясное, давящее ожидание чего-то недоброго наконец обнулилось, принесся, больно сказать, мир.

– Лучше бы меня бог забрал... – стонет усатая бабулька, тоже соседка, опираясь на палку. Ноги у неё колесом от артрита. – Зачем меня держит?

– Для галочки, – шутит дядь Хуснит – пятидесятилетний местный алкоголик с лицом цвета киновари и горбом вместо грудной клетки. Он звонко кашляет и сплёвывает мокроту в арык, выбрасывая туда же окурок папиросы из стеклопластикового мундштука.

– Для чего? – переспрашивает старуха.

– Ни для чего. Для разнообразия, – говорит усатый, похожий на пожилого гусара дядя Петя и обращается к нам, соседским мальчишкам. – Вы были? Ну идите попрощайтесь, чего уши греете! Сейчас уже выносить будут. Автобус вон уже приехал.

Вот и класс Вовкин в полном составе во главе с классной двинулся внутрь дома. Мы пристроились в хвост процессии и тоже пошли. Вовкин двор не узнать. На клочке земли, где его маленькая высохшая бабулька растила баклажаны, перец, помидоры, а мы как-то хотели вырыть бассейн глубиной

в два метра, теперь стоят длинные сборные скамейки и столы, за которыми то там то сям сидят люди ногами в невысоких обрезках наскоро убранных растений. Столы пока пустые. Чай, конфеты, чашки. Замечаю, что собачий вольер, где обитает восточноевропейская овчарка Дейзи, обложен со всех сторон шиферными щитами, чтоб не нервировать собаку. Два дня она выла без умолку, сегодня тихая, как будто её там нет.

В большой комнате куча народу, пахнет уксусом, цветами и свежими досками, как на ДОЗе среди вязанок распиленного леса. Зеркала и телевизор занавешены белыми простынями. Лишняя мебель убрана. Вдоль стен на стульях сидят родственники покойного, соседи, директор школы и завуч. Я замечаю бабушку Вовки. Она, кажется, стала ещё меньше, выглядит точь-в-точь как черепашка, которую однажды мы с дедом привезли из казахской степени: маленькая морщинистая голова в чёрном платке, кривенькие, маленькие ручки и ножки. Она до старости сохранила корейский выговор. Вовку вместо «Вова» звала «Вува». Вот и сейчас тихо выла это своё «Вува» на огромном стуле.

Вижу длинный обеденный стол, накрытый белой скатертью, а на нём деревянный гроб, обитый красной тканью. Гроб открыт. Я боюсь подходить, но иду. Я в потоке детей. Понарассказывали чёрт знает что, что там чуть ли не головешка, обезображенная до неузнаваемости...

Идём быстро, я долго не поднимаю глаз. Наконец поднял.

В гробу всё бело. Простыня закрывает большую часть Вовки. Из-под простыни немного торчат углы неразогнутых коленок. «Так и остались», – мелькнула у меня мысль. Простыня под самый подбородок. Подбородок нормальный, нос нормальный, только заткнут двумя кусками ваты, глаза закрыты, лба не вижу, потому что голова также покрыта белым платком. Вот и весь Вовка. Цветы все кладут у гроба. В гроб никто не кладёт, словно боясь причинить боль телу, на котором, как говорят, сплошной ожог. Я удивляюсь себе: во мне нет жалости, нет тоски, как в первый день, не хочется плакать, а есть то самое, как в морге. Оно начинает сосать из меня в чёрную воронку, и в солнечном мире становится темно, и надежды нет. Я смотрю на Вовку без страха, страх придёт позже, в моих снах. Я хотел сунуть куда-нибудь ему в гроб его ляngu, но не решился. Сделав круг, процессия пошла на выход.

Выходя на улицу, я мельком увидел в другой комнате тётю Аллу – мать Вовки, наполовину русскую, наполовину корейку, и Наташу – его старшую сводную сестру. Девушка склонялась над мачехой и что-то ей говорила. Тётя Алла кивнула, и Наташа вышла из комнаты. Опухшая от слёз, бледная. Кивнула мне без улыбки и прошла на кухню, где несколько корейских женщин быстро стучали ножами. На веранде вместе с мужчинами и отцом Вовки, дядь Витей, стоял и её «стреляный» парень. Курил, как и все. Не догнал он нас тогда. Слабовато бегаёт. Правда, ему было не с ру-

ки... Но всё равно бы не догнал. Я стометровку бегаю быстрее всех в классе, а Вовка быстрее меня.

## 7

Жил на Фабричной в тупичке пацан – Стас. Всё время под присмотром, всё время под замком. Если на улицу, то только здесь же в тупичке. Дальше – ни-ни. Отец у него плавал на рыболовецком судне, добывал краба. По полгода не был дома. Зато, когда приезжал, чего только не привозил! У Стаса, как и полагается всякому богачу, запертому в своем именье, имелась сумасбродная страстишка: он жутко любил автомобильные шины. Просто до одержимости. Дядь Саша часто возвращался из командировки не на самолёте, а на подержанной японской иномарке для перепродажи, и однажды привёз с собой, помимо всего прочего, комплект зимней резины. Резина была с шипами. С интересным рисунком. Что-то ёкнуло в груди у мальчика при виде колеса, и с тех пор Стас стал фанатеть от рисунков на протекторе, выискивая повсюду и всеми способами всё новые и новые их лики. Весь его двор был усыпан покрышками, разными. В основном старыми и лысыми, которые тащили ему все, кому не возбранялось ходить дальше тупичка. Тащили, меняя эти покрышки на игрушки, на вкладыши, на то, чтобы посмотреть видик. Тащили, и он честно платил, хотя часто приносили то, что у него и так уже было. В этом была уникальность этого юного

коллекционера: Стас не умел отказываться от принесённых образцов, которые все охотники до Стасовых игрушек брали только в одном месте – на вулканизации. Мы не могли пройти мимо такой халявы и тоже бросились на колёсный прииск в надежде потом выменять пару покрышек на что-нибудь интересное, пока мать Стасика не прикрыла эту лавочку.

Вулканизация представляла собой корпус бывшего синего троллейбуса, который стоял поперёк пустыря между «круглым» домом и улицей Стародубцева, по которой в выходные дни газетами стелилась торговля тезиковской барахолки. Вокруг стопками лежали старые покрышки, валялись камеры. Мы выбрали две. Они не претендовали на громкий титул цариц или королев, но что-то, тем не менее, в них было. Мы собрались уже обратно, как Вовка заметил на пустыре под старым уродливым виноградником сизый дымок. Там был явно чей-то штаб. И появился он недавно.

...Его загорелые жилистые руки странно тряслись, а хриплый голос то и дело срывался в паузы, когда он рассказывал нам о своих горестях. Он был лет пятидесяти. Пах табаком, потом и копчёной рыбой. Седая щетина густо покрывала шею и щеки, волосы же на голове были соломенного цвета и почти без седины. Он назвался Мишей. У него был маленький котелок, складной нож, привязанный на капроновом шнуре к поясной петличке грязных монтажных штанов, маленький фонарик. Ложка, армейская фляжка, металлическая белая кружка с обвязанной грязным бинтом руч-

кой, чтобы не обжигаться; крупная соль в коробке из-под палочек для счёта и алюминиевая лыжная палка, которой он ворошил в мусорных баках в поисках бутылок и прочего. Лето он проводил на речке-Босянке в компании рыбаков и пьяниц, близких по статусу к людям без крова, работы и брачных союзов. Там его не очень любили за склочный характер и звали не иначе как Костыль. Вовка же проникся к нему моментально, как только увидел закопчённый котелок на двух кирпичках. Когда мы уходили от него, мы были в таком диком восторге, что забыли свои покрышки. Мы собирались просто завалить Мишу провизией. А Вовка даже стал подумывать убежать на одну ночь из дома, чтоб поесть из его котелка и заснуть на коробке под виноградником.

Дома меня отчитали как следует, когда узнали, зачем мне картошка, лук, хлеб и кусок мороженой говяжьей грудинки. Стали вразумлять медицинской энциклопедией, в особенности той её частью, где описываются различные стафилококки и лепры. Не скажу, что на меня это подействовало, но какую-то правду на этот раз я в этом почувствовал. Наверное, потому что Миша дурно пах и имел проблемы с ногами. Плюс. У него был вздорный, истеричный характер. Он легко выходил из себя, мне не нравились эти вспышки. Меня же он считал хитрецом и молчуном.

Я стал всячески уклоняться от походов к нему. А Вовка нет. Он всего этого как будто не замечал. Он тащил ему овощи с огорода, хлеб, воду. Часто сам, без меня, сидел с ним



подолгу, помогал разводить костёр (Миша был просто счастлив – дрова не надо искать), обустроивал его быт, притаскивая с мусорок остовы мебели, коробки. Помог из целлофановой плёнки, которую он где-то раздобыл, соорудить Мише навес. Мише нравилась забота Вовы, единственный минус в присутствии малолетнего товарища был в том, что Миша испытывал некоторое душевное неудобство в принятии портвейна при нём. Не хотел он в его присутствии. Он стоически, никогда не подгоняя, ждал момента, когда Вова покинет его пристанище, чтобы затем отхлебнуть из бутылки, которую он прятал в груди тряпок на дне своего рюкзака. И в этом была величайшая жертва и благодарность со стороны Миши своему юному собрату по нелёгкому и волшебному ремеслу бродяжничества.

Не то что бы Вовка пропадал у него целыми днями, нет. Миша был определенным настроением, сезоном, что ли. Как-то вдруг Вовка вспоминал о нём, шёл к нему и был с ним, если заставал его под виноградником.

История Миши была своеобразной историей Улисса, которого, как и Мишу, злокозненные боги кушать не могли как хотели сжить со свету или по крайней мере измочалить до такой степени, чтоб он потерял всякую надежду на лучшую долю. Мишины боги были всемогущи в самом что ни на есть олимпийском смысле этого слова и все подлецы без исключения. Мифы и легенды, в которые Миша методично превращал своё прошлое по мере того, как его настоящее стано-

вилось всё бездомней, требовали титанических усилий, и алкоголь был в этом смысле серьёзным подспорьем. Мы очень скоро познакомились с циклом всех его сказаний, но, так как цикл – это цикл, все они ходили по кругу без конца. Но с Вовкой Миша очень скоро осознал, что заводить эту пластинку не имеет смысла. Вовка был человеком, который видел не горе в той жизни, которую вёл отшельник, а какую-то «вольную жизнь на природе». Он стал для Миши своеобразным кривым зеркалом наоборот, в котором отчаявшийся и стремительно опускающийся человек видел себя тем, у которого есть что найти, есть что взять; Вова стал его новой легендой, геройским мифом, оказавшимся правдой, которую, к изумлению портвейна (если бы тот мог изумляться), не надо было отстаивать в ристалищах с неутомным чувством реальности. Поэтому Миша не рассказывал Вовке о судьбе-злодейке, о кознях государства против него, он спрашивал Вову о нём самом. Иногда давал советы, порой совершенно не надеясь, что они хоть как-то ему пригодятся.

Я вспомнил о Мише, когда Вовку неделю как похоронили. Уже был ноябрь. Сухой, холодный ноябрь. Солнце, как говорится, светит, но не греет. Я взял полбуханки хлеба, пару яблок и выскочил из дома.

Миша ёжился в армейском бушлате, из дыр в котором прорастали бутоны хлопка. Рядом с ним спала какая-то женщина с рыже-седыми и примятыми волосами. На её сухой, словно покрытой подгоревшей калькой нижней губе повис-

ла крошка от хлеба. Она спала крепко. Миша хотел её растолкать, но потом, ругнувшись, передумал. С ногами у него совсем стало плохо. Распухли от гнойников.

– В больницу пора. В неотложку. Как думаешь? В неотложке не отложат на потом?

– Езжай, конечно.

– Поеду. Принеси мне пару покрывал с вулканизации. Принесёшь?

Мы оба усмехнулись. Затем возникла долгая и неловкая пауза. Я, улучив момент, рассказал ему о Вовке всё как есть. Пересказал все версии, додумки. Но он, оказывается, и так всё знал. Весть о гибели ребёнка в трансформаторной будке распространялась быстро, не нуждаясь ни в газетах, ни в радио, ни в специальном заявлении ТАСС. Одного только не знал бродяга, что тем мальчиком был Вовка. Затем я рассказал ещё и о себе, а конкретно о том, что я стал видеть сны, в которых поднимаюсь над кроватью и вижу на ней человека, похожего на себя, и это... настоящий кошмар. Он, то есть я, лежит неподвижный, с закрытыми глазами. Словно мёртвый. А я над ним. Я быстро просыпаюсь от собственного крика, но ещё долго не могу пошевелиться ни единым мускулом. И ещё то, что мне неприятно ходить задними воротами школы. К будке я уже привык, но вот заглядывать за неё всё ещё как-то страшновато. И самое странное, что страх пришёл позже. После всего.

– Ну и не заглядывай туда, – произнёс он безразлично и

стал рыться в вещах женщины. Достал из них бутылку, откупорил крышку и, прошептав «Земля ему пухом!», сделал глоток, да такой длинный и жадный, что его острый волосистый кадык заходил вверх-вниз, как рычаг дачной водопроводной колонки.

– Это пройдет, – добавил он, оторгнув сивушный воздух. – Ты, главное, учись, щегол, хорошо, а то будешь канавы лопатить и грязь месить.

«И горшки убирать», – подумал я про себя.

– И горшки убирать за всякими... тварями... Видишь, как они! Суки... всё развалили! – произнёс Миша, распалаясь.

Затем он сделал ещё один глоток и уставился на свои ноги, при этом немного кивал головой, как будто соглашаясь со своим внутренним Одиссеем, который в очередной раз без вины был лишён всего на этом свете.

Говорить было больше не о чем. Очень скоро Миша совсем захмелел и пошёл крыть всех, кого знал, на чём свет стоит. Больше всех по традиции доставалось его «проститутке дочери». Я встал и пошёл от него.

Я больше никогда не приходил к Мише, а вскоре он совсем исчез из поля моего зрения, словно его никогда и не было в этом мире. Может быть, его отыскивали богатые австралийские или ещё какие-нибудь побогаче родственники и увезли к морю; вылечили там, отмыли, подарили удобные тапочки и посадили навечно у телевизора... Или же он отравился на Сырдарью, в Чиназ, в рыбацью артель ловить на

жареного воробья и на майну стопятидесятикилограммовых сомов-людоедов, о чём часто со страстью рассказывал Вовке, обещая взять с собой:

– Самое главное – найти в реке яму. Потом подстрелить воробья. Потом чуть опалить его в костре. Затем ночью забросить снасть в эту самую яму, и тут можно со спокойной совестью ложиться спать там же на берегу. Привязав леску к ноге. Сом заглотит наживку – и понеслась!

– А если попадетсЯ гигантский и утащит на дно?

– Тогда всё. Отрыбачился. Таких случаев пруд пруди!

– Так зачем же к ноге привязывать? Можно ведь к дереву – и колокольчик?

– К ноге надёжней. Колокольчик можно не услышать во сне...

Бывал ли он когда-нибудь в реальности на Сырдарье и ловил ли там гигантских сомов тем самым образом, он и сам, скорее всего, уже не знал.

Это от него мы как-то услышали, что прошлое, даже своё собственное, чем дальше, тем больше оно напоминает слухи, а его – и вовсе сплетни.

Я побрёл домой, унося под кожей химические реакции, которые мой мозг интерпретировал как смесь печали и какой-то пустоты. Мне хотелось скорее вернуться домой к чему-то привычному, знакомому, тёплому... К моему старомодному магнитофону, к маме, к горящим глазам моего отца, когда он рассказывал нам, как мы заживём, когда выиг-

раем грин-карту, к «Волшебнику Изумрудного города» – моей первой самостоятельно прочитанной книжке; а ещё хотелось съесть бабушкину мясную поджарку, тёмно-бурую, кисленькую, тягучую. С пюрешкой. С квашеной капустой, заправленной луком и растительным маслом. Хотелось перейти в другой класс. К Марлену. Узнать, сколько километров до Луны и что в космосе колотун минус двести.

Проходя мимо вулканизации, я случайно бросил взгляд в самый дальний её угол и увидел там подлинный бриллиант из синтетического каучука, стальной проволоки и прочих колёсных ингредиентов. Под кучей дырявых лысых покрышек, забытый всеми, лежал, как бы не соврать, просто вылитый колёс-молодец. Его протектор «ёлочкой» смотрел на меня наглой харей «вездехода». Как его проглядели другие охотники за шинами – для меня до сих пор остаётся тайной бермудского треугольника. Пупырчатый, ребристый, с глубокими шрамами, он был самой харизматичной покрышкой из всей свалки этих мягкотелых, потёртых шин без лица, с памятью бесконечных тормозов. Он был явно королевских кровей, но был из той породы, которые погибали в битвах, на охотах, на пирах от апоплексических приступов, упиваясь и обедаясь до смерти. Которых лучше не брать на слабо.

Я быстро растолкал свору черни над «его высочеством», поставил того на боевой протектор и ещё раз оглядел его с ног до головы: потёртый рельеф, небольшая трещина по центру, откуда наружу лезли куски стального хребта, но стоит

на асфальте так, как будто собирается укатить на Гавайи! Я взял и пнул его со всей дури, и он, собака, дал мне сдачи. Он оказался таким жёстким, что я почувствовал это через свой кроссовок. Я подошёл к нему, прихрамывая. Взял его в руки, аккуратно катнул по асфальту, и он покатился. Правда, не очень быстро... Стасик, как и ожидалось, был настолько им очарован, что без разговоров пошёл на все мои условия и отдал мне свою драгоценную коллекцию вкладышей «Турбо» – 56 штук! А вскоре из командировки вернулся его отец. Когда он обнаружил, что их двор представляет собой свалку автомобильных шин, ничем не уступающую по своему ассортименту лучшим вулканизациям города, он дал нагоняй жене, потом сыну, а затем развёз на праворульной «тойоте» все шины по вулканизациям, кроме пары-тройки самых любимых Стасом покрышек. В их числе был и мой «король», так что я мог не переживать за судьбу нашей сделки.

Коллекцию вкладышей я потом удачно обменял на пять американских долларов у Женьки Акпербекова, которому на день рождения делали подарки американскими деньгами. Помню, Линкольн был с синей кляксой на носу, но это было неважно. Мама добавила ещё немного, купила мне цветной модный ранец и очень хвалила мою предпринимательскую жилку. Этой жилки нам тогда очень не хватало.

Однажды, играя в футбол на школьном дворе, мне всё-таки пришлось заглянуть за будку, когда за неё закатился футбольный мяч. Мяч лежал на бетонном отмошке, прижимаясь к металлической запертой двери трансформатора примерно в том месте, где лежал мой товарищ. Я быстро шагнул к мячу, стараясь не фокусировать свой взгляд на двери, за которой однообразно гудело электричество. Но неожиданно для самого себя я стал с любопытством рассматривать пол под мячом. Я присел на корточки. В трещине бетона я увидел почти выцветший тонкий сигаретный фильтр. Я достал его и поднёс ближе к глазам. Бледно-жёлтые конопушки... Почти чёрное никотиновое пятно по центру фильтра... Это был «Данхилл», тот самый, который курили ребята в тот день. Может, и Вовкин... Было такое чувство, будто я нашёл сокровище.

Внезапно раздался ор сбоку:

– Кузнечик! Ты заманал! Сколько можно тебя ждать?!

Я оглядываюсь. На меня смотрит потное, разгорячённое лицо Дильшота – старшеклассника из нашей школы. Я катнул ему мяч:

– Да иду...

Сунув зачем-то бычок в карман, я встаю и резво бегу на угловой. Лето подходит к концу. Скоро осень. Школа. Сезон лянги. В которую я так ни разу Вовку и не обыграл.